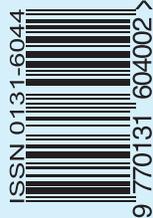


18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



РОМАН №22 ГАЗЕТА

Современная российская повесть





ФУФЛЫГИН Александр Валерьевич

Родился в городе Перми в 1971 году. Профессиональный юрист. Участник Конференций и Съездов писателей Урала и России. Лауреат Пермской городской литературной премии имени А. Ф. Мерзлякова.

Печатался в литературных журналах: «Урал», «Октябрь», «Звезда», «Молодой Петербург», «Наш современник». Автор четырех книг прозы. Член Союза писателей России. В настоящее время живет в Санкт-Петербурге.



ИЗБОРЦЕВ Игорь (Смолькин Игорь Александрович)

Родился в 1961 году в городе Пскове. Автор восемнадцати книг прозы и публицистики, лауреат многих литературных премий. С 2004 года — Председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России.



СОЛДАТОВ Олег Михайлович

Родился в 1970 году в Москве. В 1994 г. закончил Московский авиационный технологический институт им. К. Э. Циолковского. Впоследствии освоил ряд профессий от инженера-конструктора до программиста и строителя. С 2000 года профессионально занимается литературной деятельностью. В 2008 г. окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького.

Член Союза писателей Москвы (2010). Автор нескольких книг.



Праздник литературы в Кубанском университете

9 октября 2020 года на факультете журналистики Кубанского государственного университета прошла уже четвертая по счёту Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная творчеству Виктора Лихоносова и актуальным проблемам развития языка, литературы, журналистики, истории. В этот же день состоялась и VII Всероссийская конференция, посвященная наследию ещё одного славного сына Кубани — рано ушедшего из жизни критика Юрия Селезнёва.

Главный редактор «Роман-газеты», писатель Юрий Козлов очертил в своём выступлении возможные сценарии будущего России. В современной прозе контуры грядущего просматриваются достаточно чётко, дело за читателем: надо быть готовым к духовному труду и интеллектуальному мужеству.

На конференции прозвучал обстоятельный доклад филолога, профессора журфака КубГУ Олега Мороза, посвященный феномену «новопатриотизма» в романе Юрия Козлова «Новый вор».

Тревога за будущее нашей святыни — русского языка — прозвучала в докладе автора журнала «Роман-газета», писательницы Светланы Замлеловой.



О противоборстве феминизма и фамильности в современной литературе и журналистике говорила в своем выступлении прозаик, еще один автор нашего издания Лидия Сычёва.

Кубанский научный форум стал событием в культурной жизни России. Лихоносовская и Селезневские конференции — прекрасный пример живого, а не имитационного знания; профессионального подхода к делу, содержательного и перспективного направления в гуманитарной науке.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор

Юрий Козлов

Редакционная
коллегия:

Дмитрий Белюкин

Алексей Варламов

Анатолий Заболоцкий

Владимир Личутин

Юрий Поляков

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»

принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2020

Все права защищены

Журнал зарегистрирован
в Министерстве связи
и массовых коммуникаций РФ.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-68350

от 30.12.2016 г.

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
roman-gazeta-1927@yandex.ru

Подписные

индексы издания:

в каталоге агентства

«Роспечать»

70782 на полугодие,

71752 на год;

в объединенном

каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2020 №22 /1867/ Основана в 1927 г.

Современная русская повесть

Александр Фуфлыгин

Клетка

Повесть

1

Странно, но в энциклопедическом словаре слова «клетка» Эдик Кейджинский почему-то не нашел. Пока отец, прикрикивая на мать, упаковывал сумку, нервно дергал запрявившуюся вдруг застежку, пока мать, нервничая, отталкивала отцовские «непутевые» руки и сама принималась дрессировать непокорную молнию, Кейджинский, присев на корточки, раскрыл толстобокый томик. Он отыскал нужную страницу, скользнул любопытным пальцем по строчкам сверху вниз.

Было все что угодно, только не было «клетки». Были клетень и клетневка. Был клёст со своей клестовкой (*loxia curvirosta*), шахтерская клеть, клетушка под дверью. Кейджинский взял другой том в глянцевой, цвета крови, чудовищно истрепавшейся обложке, пробежался пальцем — есть, кажется: «клетка: элементарная, живая система, основа...» — не то, не то...

И вот, наконец, в другом, кожном, томе отыскал следующее: «клетка — помещение со стенками...» — есть искомое слово.

Лезть в словари Эдика Кейджинского заставляла отнюдь не жажда знаний, а сильная взволнованность, которую он испытывал перед отъездом. Ему нужно было заняться чем угодно, лишь бы отвлечься от нелегких мыслей. Он уже за утро пил чай с матерью, рылся в столе, деланно спешно ища отцовский «складень», и, хотя нож нашел быстро, порывлся для виду еще немного с целью оттянуть время; поспорил с заглянувшим на огонек соседом о порочности поездок в купейных вагонах, о девках из неблагополучных семей, сующихся в каждое незакрытое купе с низменными целями (отчего у него сладко засосало слева под ложечкой). «Ах, ах! — сказала тем временем мать, хватаясь за щеку. — Не лучше ли было взять плацкарт...» Но было уже поздно...

— Ну, вот и все, — сказал отец. Лицо его, когда он разогнул поясницу, обрело ободряющую улыбку. — Отлично упаковались.

Отец кривил душой, так говоря: бежевый язычок сыновней курточки зиппером-то они прищемили, и тот поник, обескровленный и потемневший.

— Клетку-то отдельно повезем, в брезентовой моей сумке, походной... Я уж сам поташу. Ну, сынок, пора двигать, пора...

Присели «на дорожку». Кейджинский уселся на самый краешек стула, нервно постукивая каблуками новеньких бареток. Встали. Кейджинский подхватил наплечную сумку. И тут мать полезла целоваться, набросила руки ему на плечи, повисла. Сумку-то он все время пытался сбросить, ворочал плечом, ртом успевая отвечать материнским солоноватым губам. Но не вышло эффектное освобождение странника от нелегкой ноши: лямка зацепилась за бутафорский плечной погон. Зато после, в тот самый момент, когда мать, неудачно скрывающая слезы и шмыгающая носом, откинувшись, стирала носовым платком, намотанным на палец, предварительно облизнув самый его кончик, помаду на сыновних губах и скулах, сумка вдруг начала запоздало соскальзывать, словно этот погон не замечая, и в конце концов съехала на гиб локтя.

— Билет, паспорт? — напомнила мать, и щеки ее порозовели.

— Здесь, — ответил за сына отец, хлопывая себя по нагрудному карману. Эдик и не сопротивлялся: отцовский карман казался ему хранилищем более надежным, чем его, Эдика, джинсовый лоскут, приделанный к куртке фирменными заклепками. Отец сохранит, и не забудет передать на вокзале, и не сомнет в автобусной толчее.

— Ну, хватит, — сказал наконец отец, неловко отрывая мать от сына.

Ситуация действительно была не для слабого материнского сердца: Эдик, цель всей ее жизни, баловень, любимый мальчуган, и вдруг... Невозможно себе представить, как он, съездившийся — быть может, словно от холода, от подступающей к горлу тоски по уплывающему вдаль отчужденному дому — глядит покрасневшими от слез глазами вслед неуклюже пятящемуся перрону. Невозможно себе представить, что Эдик через какие-то несколько часов будет уже за пределами города, будет лицом принимать ласки не ее, материнских, ладоней, а разбойничьих дланей несущегося навстречу крепкого, пропитанного незнакомыми дорожными запахами воздуха.

Всхлипывая, она расцепила руки: он, сын, сынок, покорный судьбе, ныряет в прожорливые механические лифтовые створки. Со страхом слышала она, как лифт, издав сытный звук, захлопнул пасть и пошел вниз, гугниво переваривая ее неразумное дитя, поддавшееся на уговоры папаши (который конечно же жалеет сына, но склонен иногда раздражаться глупыми и нелепыми педагогическими идеями).

Она бросилась к окнам, металась от одного к другому, отчаянно бормоча всевозможную материнскую белиберду, припоминая дурным словом мужа, заварившего всю эту кашу; но их не было. «Прозевала!» — ахнула она про себя и опустила бессильные руки. Но в тот самый момент, вдруг прижавшись виском к стеклу и приподнявшись на цыпочки, са-

мым краешком глаза она увидела паутину сигаретного дымка, раздробленного легкими, мелкими трещинками в стекле (результат — еще в отрочестве — пушенного Эдиком камушка).

— Нашел время, — проворчала она, заочно обращаясь к мужу, и стекло тут же запотело от ее частого дыхания; тогда она приласкала его ладонью. — Опоздают ведь... — прошептала с надеждой.

И тогда они пошли: сын был чем-то расстроен, шел угрюмо, опустив измученное узкой лямкой плечо; за ним — рассерженный взмах отцовской ладони, умудренный проплешиной затылок, перышки дыма, выпущенные из сложенных трубочкой строгих губ. С высоты третьего этажа сын и муж были чудовищно коротколягими, головастыми. Материнские слезы застили мучительную, кислую прощальную улыбку. Проплыли за угол; она вытягивала шею, вновь припадая к стеклу лбом, но смогла поймать взглядом лишь ускользающую сыновнюю ногу, обутую в новенький полуботинок.

Всю дорогу до автобусной остановки в голове Эдика созревала некая дилемма: представить себе дорогу до вокзала без отца он не мог — какой-то ископаемый, животный страх внушала ему предстоящая поездка. Отец же всегда вселял в сына успокоение, да и сумку с клеткой тащить самому не очень-то хотелось. Теперь же она покойно висела в сумке на отцовском боку, и даже со стороны в ней можно было бы наспех признать отцову собственность (отцовская же клетка хранилась дома, как реликвия — чужунная, неповоротливая — ею отец очень гордился и часто упрекал всю современную молодежь — в лице сына — за излишне легкомысленное отношение к этому необходимому, повседневному причиндалу). В то же время предстоящая дорога вселила в Эдика странное, необычное предчувствие свободы, колкой, занозистой, с железистым вкусом — с тем самым, какой оставляет во рту прыжок с высоты или скоростная поездка в лифте с прозрачными стенками.

Обуреваемый сомнениями, он вслед за отцом влез в кипящий телами салон. Попытался протиснуться: не дали; хотел аккуратнее поставить ногу — ее отнесло многоногим потоком, пришлось ее пристраивать, выворачивая, хрустя суставами. Выживая мелочь, Эдик согнулся, не удержал — зазвенела, запрыгала мелочевка, нагло стараясь разбежаться подальше, сунуться в самые дальние ноги. Налившись краснотой, он попытался достать серебряшку, уж протянул было руку... Тут как тут — отец, протиснулся, судорожно дыша: «Растяпа... Оставь... Сам заплачу...» А ведь можно было бы (пока клетка в собранном виде) слегка пококетничать с симпатичной в профиль билетершей, полногрудой и размалеванной, ведь иногда именно такие вульгарные субретки вызывали похотливый трепет в области пупа.

Некоторое время Эдик приноравливался к ходу автобуса, изогнувшись в попытке выудить промеж

жарких спин ломоть окошка. Пусть там, за ним, бесконечный поток размытых от скорости зданий, знакомый с детства промельк вопросительных знаков — бетонных столбов, оканчивающихся отнюдь не ответами, пусть бестолковая болтанка ребристых, неприхотливого вида заборчиков со следами граффити. В общем, как сказали бы немцы: ничего нойес унд интэрэссантэс, — но занимать себя подобной чепухой было первейшим делом каждого пассажира.

Спины стояли плотно, и ломтя окошка Эдик был лишен.

Чья-то рыжая лапа, поднатужившись, выдавила наружу кусок крыши. Прохладный воздух отчаянно кинулся в салон сквозь беззубую пасть люка, взбил волосы на макушке Эдика. Работа сильно послушенных ладоней прошла впустую — вместо обыкновенного чуба голову Эдика теперь венчал чуб влажный, иной формы, может быть, иного веса, но суть дела не изменилась. Еще раз провел растопыренной ладонью, пропуская неподатливые волосы между пальцами — зря.

Две каланчевидные девицы с модными буклями, нависшими на лица, и с обезображенными пирсингом лицами беспечно прыскали друг другу в прыщаво-веснушчатые оголенные плечи. Одна, что посветлее и чуточку повыше, коварно кося глазами, выпрыснув очередную порцию насмешки, состроила ладонями лодочку и сквозь ее дырявое днище активно зашептала подруге в ухо.

Кейджинскому стало мучительно жарко; он напряг слух, но скрежет двигателя и дребезжание стекла забили ватой уши. Он проклял одновременно две взаимоисключающие вещи: жару (комковатый, нагретый летний воздух, трудноперевариваемый легкими, раскаленные спины и бока рядом стоящих) и столб прохлады, бьющий в темя (результат — новая копна волос).

Корни волос мучительно взмокли, когда девицы засмеялись на весь салон. Какая-то лягушачья сырость образовалась у Кейджинского под мышками, капли пота за ушами, на висках. Тут справа — озабоченный отец: «Что с тобой, сынок?» Поспешный сыновний ответ-отмах.

Новая девичья атака (словно нарочно, и ведь не отвернуться, не отвести глаз, не выскочить на волю — черт с ним с поездом! Черт со всем на свете! Дайте воли! Дайте свежести! Дайте новорожденную мечту: получасовое одиночество и ледяную мистраль в спину!), и в довершение всего: глазной тик — частые подмиги развратных девичьих глаз. Пытаются с ним заговорить — это видно невооруженным глазом! А за спиной волнение прижимающегося вплотную плеча. Кто там еще, такой неугомонно-спорый на пассы плеч? Как в замедленном нудном кино, во весь экран: полураскрытые губы, помада на двух передних (подростковых — заячьих) резцах, несколько слов с помадным привкусом: «Куда же ты Иркут-

подевал?», и прожигающий сетчатку взгляд, полный насмешки.

Кейджинский растерялся. Краснота Кейджинского плавно переползла в багровость. Кейджинский открыл рот, формируя языком и нёбом: «Я Иркуту никуда не...» Но тут за его плечом ответили зачаточным баском: «Ирка в баре осталась... Дискотеку, говорит, дождусь».

«Ах, вот оно что!» — понял Эдик, скашивая глаза и видя небритый острый подбородок, череп-черепок с легкой болоночной порослью, пробивающиеся над губой усы. Тем временем подростки продолжали беседу через его, Эдика, плечо и постепенно остывающую щеку, совершенно на него не обращая внимания: «А ты что же с ней не остался?» — «Тык я...» Далее следовали совсем уже интимно-домашние подробности, во время которых кожа Эдика медленно приобретала свой естественный, натуральный природный цвет.

— Следующая наша, — сказал отец, протиснувшись поближе. — Черт, как надоела эта толкучка... И куда все едут на ночь глядя?

А тут и потолок хрипло объявил о следующей, конечной, остановке «Вокзал». Кейджинский был поражен. Конечно, на вокзал ездил он реденько. Если точнее: крайне редко; в последний раз — два года назад, когда провожали тетку, уезжающую в Сухуми «скорым». Но он прекрасно помнит, как тянулось время, как он, тогда юный и беспечный, восседающий где-нибудь на отличном месте у окошка (отбитым для него матерью у наглой облезлой тетки), прижимающийся юной щекой к замызганному окну, мечтал домчаться побыстрее.

Тогда поездки в общественном транспорте ему доставляли мучения, его воротило от специфического автобусного запаха, его укачивало. Он маялся от скуки, считал остановки, ворчал на ставящие подножки светофоры, на перекрестки, забитые лезущей под колеса, вечно рвущейся поперек бабки в пекло автомобильной мелкотой; он, помнится, все ехал, ехал, ехал, вокруг него происходило движение, он видел зады, движущиеся к выходу, и завидовал освободившимся задом; он видел рвущиеся в забитый салон руки и расплющенные в давке лица, и завидовал рукам и лицам, пусть расплющенным, пусть изломанным — ведь им все равно осталось много меньше ехать, чем ему.

Сейчас же время пронеслось бегом — Эдик не успел даже углядеть его ускользающие пятки. В кои-то веки он был не прочь протащиться в этом автобусе подольше. Избавиться бы, конечно, в первую же очередь от красновыинной толпы, усесться возле окошка — по-детски беспечно — и ехать так до бесконечности, ехать, ехать. Ан нет: конечная остановка «Вокзал», разморенный, помятый отец, сумка с клеткой, сумка с одеждой и «питанием» (так говорила мать). Поток хлынул наружу, журча,

суживаясь в проходе и растекаясь снаружи в разных направлениях.

— Обязательно сегодня, — бубнил отец, тяжело дыша в чью-то мокрую спину, — съешь курицу. Иначе протухнет.

— Ладно, — ответил Эдик, отворачиваясь; ему казалось, что все теперь смотрят на него из-за этой глупой курицы, которая должна протухнуть.

«Клетку чисти чаще. Постарайся не дурить. Дядю слушайся — он знает толк в делах. В гостиницу не суйся: сними комнату. В гостиницах живет всякая шушера — обманут, подведут под монастырь. В комнате тебе и спокойнее будет, и дешевле выйдет». Ответ Эдика был всегда один: ладно, ладно, ладно, ладно. Это было немного скучно, но привычно: отец любил наставлять сына, запомятовав, видимо, что сын-то уже достаточно вырос. И хотя Эдику казалось, что все это он знает, все это слишком банально, но все же слушал, не надеясь до конца на собственные силы. Пусть, пусть, пусть — пусть предок говорит, пусть это доставит ему успокоение (наставил сынка, обучил — теперь не пропадет парень!) и Эдику придаст уверенности в том, что все, что нужно знать молодому человеку, он знает.

— Только не кричи так, — попросил Эдик, но отец, кажется, не обратил на его реплику никакого внимания.

Запах мочи, открытки, глянцевые сердечки, раскладные столы с канцелярией самых безумных расцветок — подземный переход; свернули — лестница, дымящаяся жестяная урна, липкие касания перил, зеленая гусеница поезда, проводницы в застиранной форме и с флажками в руках. Отец: «Вот и, слава богу, поспели...» — это его странное «поспели» вместо «успели». Возле вагона: долгоногая девица с собранными в бомбошку на затылке волосами деланнотомным движением губ высасывает последние соки из благородного ментолового окурка.

— Ваш паспорт, — потребовали у Эдика; он, растерявшись, отвел взгляд от девичьих колен, открыл рот, закрыл рот, поднял взгляд: проводница была немолода, патологически недоверчива. — Паспорт у вас есть? — повторила, видя его замешательство. — Без паспорта нельзя.

— Есть, есть, — спохватился отец и полез в карманы. — Сейчас, сейчас... Подержи, сынок, сумку...

Девица, страшась повредить ногти, двумя тонкими пальчиками достала из сумочки паспорт, приподняв бровь, освободила желтую полоску билета из объятий документа.

— Тридцать второе, — нарочито небрежно, с налетом ненависти (что показалось Эдику совершенно гадким) кинула ей проводница. Эдику захотелось, чтобы ему попало тридцать третье место или тридцать первое. Две нижние полки, он и она напротив друг друга. Он будет созерцать ее благородное худое лицо, ее колени, плечи, шею целых восемнадцать

часов (нет, десять, восемь — на обязательный сон); либо две верхние — все равно.

— Оба едете?

— Нет, — поторопился Эдик, — только я.

— Тридцать третье, — небрежно бросили ему кость, но кость с куском мяса, с болоньей, с наметками салца, запеченную с благородным сыром. Его обуял восторженный трепет и внезапная любовь к цифре «тридцать три». Отца он в вагон не пустил, предпочтя самостоятельно (откуда взялись силы?) затащить обе сумки в тамбур за какие-то доли секунд. Потом, оставив их («Потом отнесу, постою пока с тобой, подышу воздушком...»), принялся прогуливаться вдоль окон с отцом наперевес, не забывая заглядывать в окна, словно нарочно подставленные; увидел ее в окне, уже простоволосую, в белоснежной футболке, подпершую сдобную грустную щеку ладонью, и в сердце у него случился переполох, и в ногах у него произошла оказия, и он чуть не упал, удержался за отца, поплатившись за рассеянное вождением внимание разбитым правым коленом.

— Курицу не забудь съесть, — гугниво говорил отец, жуя слова, — сыр не оставляй на подоконнике открытым — высохнет...

Эдик был очарован: она показала подмышки. Краешком глаза, стараясь изображать полнейшее равнодушие ко всему вокруг (нельзя, чтобы об этой его безрассудности — а это была действительно безрассудность, и строгих правил мать была бы в ужасе, узнав о ней! — не догадался отец), он смотрел, как она поправляет волосы. Самым краешком, но достаточным для того, чтобы разглядеть (немного мешало, конечно, замызганное стекло) зовущие темные впадины, напряженные гладкие лямки ключиц. Он будет (также — краешками глаз) кормиться ее дорожной обольстительностью, как материнской грудью.

Он долго махал отцу, словно желая удостовериться, что свобода его окончательна; а когда тот уполз в сторону — не двинув ни ногой, вместе с вокзалом, с сараем, забитым металлом, с пешеходными мостиками, с велосипедом, приставленным к изможденному временем боку куцега заборчика — вот тогда Эдик Кейджинский взялся за лямки. Он проперся по проходу, подталкивая сумки коленями — одна из них мягко вибрировала; он пробормотал чуть слышно «ладно, ладно, скоро уже...», прошел дальше, рысца взглядом по стенам, нашел «тридцать два».

В этом месте — погрешность судьбы: номерок «тридцать два» оказался в соседнем купе. Кейджинский воспринял эту отвратительную весть мужественно, втиснулся в пропахшую мужскими запахами пещеру, застывшую единственной, гремучей дверью, и кивнул соседу, распутившему по проходу долговязые ноги, бормочущему почему-то шепотом: «Соседями будем... хорошо...»

2

Не раздумывая, ни минуты не медля, успев лишь освободиться от неудобных сумок. Одну: на самое верхотурье, в кажущуюся бездонной нишу над верхними полками, другую, раздувающую бока (Эдик бормотал чуть слышно, так, чтобы не утолять болезненную информационную жажду не в меру любопытного соседа) — под нижнее сиденье. Причем сердце его в тот самый момент сладко заныло, и это было бы удивительно и даже заставило бы его, может быть, испугаться, если бы не сегодняшняя чередой сердцедробильных мук, которые, наверное, всегда испытывает впервые вышмыгнувший из родительского гнезда мальчишка. Затем, спешно напялив маску с застывшей на ней торжественной миной, которую можно было бы в его случае назвать самоуверенностью с примесью равнодушия, Эдик выскочил в коридор.

Не было. Ее не было.

Эдик, опершись о поручни, представил себе ее манящие голые руки; пыл, приливший к его лбу, быстренько сполз ниже, проглотил шею, осел на грудь. Он взялся за окно слабыми руками, попробовал: закрыто, накрепко и бесповоротно, — и тут вышла она и встала возле него, облокотившись о поручень. От нее пошел такой жар, что Эдику пришлось вернуться к себе — вновь загорелось его лицо.

Он плюхнулся задом, ничего не замечая; сосед был туманным пятном, рождающим пустые звуки. Эдику пришлось кивать ему, чтобы не вызвать на себя огонь его ненужных вопросов. Задом он чувствовал, как взаперти бьется клетка, в нише, под сиденьем, а внутри него ей в унисон билось сердце.

Эдик вдруг понял, что его бесцельный покой может обернуться сердечным припадком. Он вскочил, прервав соседскую тираду о каком-то домашнем зверье, содержимым соседом на Кубани, полез с ногами на сиденье, достал из сумки старое отцовское трико, любезно предоставленное сынку в дорогу, развернул его и сунул обратно, сраженный внезапно открывшимся его внешним видом. Здесь были и тривиальные, оттянутые до безобразия колени, выдохшаяся резинка, несколько проплешинок в паху. «Что тебе, перед кем красоваться-то...» — начал было сосед, но Кейджинский его не слушал и выглянул в шелку.

Она стояла, по-прежнему локотками подпирая поручни у окна. Она была еще привлекательнее, и даже профиль острого носа ее не портил. Манящая белизна перекинутого через плечо вафельного полотенца, легкие сланцы на босую ногу — Кейджинский опять почувствовал себя неудобно; это неудобство было сродни тому кошмару, которое он испытывал в школе, несправедливо распятый возле доски, словно какой-нибудь хулиган. Сейчас — знакомое ощущение ваты в коленях, безболезненной су-

дороги скул, тысячи взглядов, прикованных к лицу, и от этого — жар, и вымокший лоб, и зачаточный, не окаменевший пока, сталактит на кончике носа, который бесполезно стирать фронтом ладони, ибо на его месте немедленно пухнет новый.

Теряясь в этом жаре, как в омуте, он пропустил торжественный миг, когда она незаметно для него исчезла в неизвестном направлении. После нее остался белый стяг полотенца, переломленный вдвое, небрежно навешенный изгибом на перекладину возле окна. Ругнув себя, Эдик выскочил из своего купе, стараясь — словно это возможно хоть как-нибудь, тщетно напрягая хоть какой-нибудь извилин коры головного мозга, — определить это самое направление.

Он был то тут, то там, напугал ребенка, несшего по проходу завернутую в блестящую бумажку сосательную палочку, и снова тут, возле двери своего купе, откуда немедленно донеслось: «Чего потерял?» соседа, пронесшееся вскользь, мимо раскаленных Эдиковых ушей, раздражающее. Дав ему отмашку, Эдик остановил бег возле окна, щупая ладонью забытое полотенце. За окном прочь летели косые сажени еловых плеч, разновеликие, раскинутые в стороны руки-перекладины, столбы, взлет-падение проводов. Все шло в сторону, в сторону, безвозвратно, невозвратно.

Она видела то же самое, она оставляла печати взглядов на еловых, березовых истуканах.

Она могла нырнуть в свое купе, пока он, ослепленный пустыми мечтами, устраивал засаду за приоткрытой дверью. Она могла быть в тамбуре, она могла вообще уйти из вагона.

Она была сразу же во многих местах.

Он видел ее сидящей на чьем-то диванчике, лежащей в постели, с руками поверх непривлекательно древнего одеяла; она ела банан, разлегшийся на тарелке — с него предварительно содрали кожу, — скребя вилкой об нож.

Она, она, она — домкрат в его голове отжимал виски наружу, так что приходилось удерживать их на месте двумя руками.

— Чай будет попозже, — сказала ему проводница, неся кому-то добавочное одеяло. — Я только недавно растопила казан...

— Обязательно, — неопределенно выдал он, — обязательно... Билеты — обязательно...

Проводница столь же близнецово рассеянна: Эдиков ответ завис в воздухе. Его втянул ноздрями высунувшийся из дверей сосед: «Билеты она раздаст утром. Когда приедем на место. Там у тебя чего-то под сиденьем...» Но тут же, не дожидаясь ответа, сосед исчез в направлении вагона-ресторана, бурча: «Наскока лень тащиться через весь состав, ты не представляешь...»

Было время, от силы сорок минут: пять минут сосед будет «тащиться» до ресторана, пять — обратно,

полчаса там — всего сорок минут. Кинулся — вот наконец амнистия клетке. Он вынул ее на свет из-под сиденья, из сумки, помятую, разложил на дерматиновые полки, перебрал ее суставы, сдул с них пыль. Тут вспомнил про курицу — освободил и ее из плена промасленной бумаги, от соседства пихающихся, подлезших под бочок вонючей мыльницы, матового футляра, заполненного зубной щеткой с проплешинами на щетинистой рабочей поверхности.

Клетка, тем временем расправив перекрестья, наполнила собой дверной проем, рискуя застрять в полозьях. «Куда?!» — хотел крикнуть Эдик, хотел броситься, хотел содрать ее, словно паутину — с не паутинным треском, с не металлическим, но с натужно костным хрустом. Подумав, оставил все, как есть, ибо в запасе было еще полчаса (он лишь отыскал фиксатор, выщелкнул его из стены, чтобы теперь никто не вошел без его позволения).

С беспокойным сердцем он ел мясо; для начала — любимые крылышки, после — лапы; спина осталась «на потом»; за чаем не пошел — ведь нужно было сначала убрать клетку, нельзя, чтобы ее видел сосед, — а просто сел, грея ладонями холодные острые колени.

С этой стороны, в этом окне — те же, безучастные, бесстрастные леса и отдельно стоящие деревья, те же пологие крыши, те же облака, в розовом закатном свете кажущиеся кошмарными, занесенными над головой, окровавленными снежными глыбами. Лег, прикрывшись одеялом, почувствовал кожей его проникающую сквозь одежду колкость, его войлочную грубость. Наверное, там, в параллелепипеде соседней купейной пещерки — она, покрытая войлочной накидкой, называемой дорожным одеялом, ее плечо, может быть, как в зеркальном отражении роднится с Эдиковым, полосатым от нелепо грубого рисунка на одеяле.

Повернувшись носом к стене, Эдик втягивал ноздрями воздух, и тот двигался с места. Но пахло лишь вагонной, многолетней затхлостью одеяла. Он улаживал себя одной лишь мыслью, что тот же запах, быть может, ловят сейчас и ее тонкие, припудренные ноздри.

Поезд притормозил, забило сердце, перестукиваясь с колесами: некто тонко, по-женски плаксиво (не разобрать, конечно, ни слова, лишь влажные от слез тона, выдыхаемые споро-скользкие полутона) забормотал. Эдик тут же представил плаксивые вздоги женских — невидимых через стену, но ясно предполагаемых — плеч; как вдруг почетче, поближе, пояснее: «...зачем ты потащил меня? Зачем? Лучше бы я...» Затем новые всхлипы; вскоре опять: «...лучше я в тамбуре всю ночь простою, чем видеть твою харю...»

Эдик приподнялся на локте.

Мужское: «Стой где хочешь, дура, хоть в туалете... А я пошел дрыхнуть...» Звуки проползли вправо.

Никуда она не уйдет. Странная, притягательная сила грубости. Нельзя ее терпеть. Но она словно магнит.

Время. Эдик вскочил. В несколько секунд клетка, скрипя в пазах — гибкая, но упрямая, — была втиснута в сумку, примята ногой. Резкий взвизг молнии на сумке, созвучный плагиату на брюках (рубашку не обязательно заправлять в штаны — дорога все-таки; подумал-подумал: нет, она может быть в тамбуре — ведь чем черт не шутит! — расстегнул, заправил, взвизгнул замком, отбросил дверь). Нельзя клетку показывать соседу, — он ведь не погнушается забраться в сумку, поглядеть, потом похихикивать будет до утра, ночи не сомкнет глаз, веселясь. Эдик уселся поудобнее, решив никуда не ходить больше.

Но все же вышел, встал в проходе; клетка, учуяв его, немного и бездвижного, возле окна, притихла. Усыпив ее бдительность, Эдик прокрался мимо пластиковых стен, скользнул сквозь воздух смазанной ловкостью грудью, увернулся бдительным плечом от болтающейся под напором сквозняка грязной занавески. Там дальше, за мощной грохочущей дверью, она, ждущая, подпирающая боком стену, ковьярящая розовым пальчиком заклепку на тамбуровой обшивке; счастье — ее прохладный, женственно острый локоть, близость ее тонкой, с голубыми прожилками шеи; счастье — ее губы, жаркий язык, касающийся его зубов...

Это было бы... Так было бы слишком просто для того Эдика, воображаемого, что пошел в тамбур, успокоил, завоевал. Этот Эдик всегда был потрясающе привлекателен. Он был не чета своему аутентичному двойнику и не страдал нерешительностью. И клетки у него не было, а значит, не было и груза пустых переживаний. Он был прозрачен, но в нужный момент видим, в другой момент — ловок, бестелесен, не останавливаем никакими прутьями. Он всегда был более приемлем всеми, нежели выдумавший его Эдик. Он не был краснуч, не был панически пуглив.

Эдик шагнул, повторяя шаг в шаг порывистые, ловкие движения того, второго, выдуманного Эдика: неудержимая боковая качка — поезд на повороте, сердце на вершине амплитуды, дозволенной кардиологией. Взятая рукой за пульсирующую металлическую рукоять, вдавил вниз, к полу. Сердце исчезло из груди, упало под ноги, затрепетав, растоптанное собственной стопой, оформленной походными отцовскими тапочками.

Там, в тамбуре, в волнительном тумане наконец она: мокрые щеки, красные, некрасивые пальцы, «о»-образный рот, легкие морщинки, ползущие от носа вниз. Эдик встал, прижавшись задом к вибрирующей стене, кося глазом в ее сторону. Она тем временем, не оборачиваясь, отвернулась совсем, чуть слышно всхлипнув.

Шагнув уверенно, ловко подстраиваясь под волепадный грохот колес, рукой взялся за милое пле-

чо. Она прижалась, уткнувшись мокрым носом в подставленное плечо — вот он: близкий, горький запах ее волос, признак женственности...

Нет, это тоже было бы слишком просто. Трудно решиться и подобраться к рыдающей. Настоящий Эдик не двинулся с места. Вымышленный же, решительный, многоопытный Эдик, со шлепком, вернулся в исходное положение: прилип задом к стене.

— Ну? — сказала девушка, вдруг резко обернувшись. — Чего уставился? Иди, куда шел, понял? Нечего тут... за спиной торчать...

Эдик кивнул еле заметно и начал наливать краской. Обиды не было — была разрушительная слабость. Он вышел, волоча за руку того, воображаемого, наглого сумасброда, упирающегося (но настоящий-то сильнее, ибо материальнее), требующего не сдаваться, а продолжить... Вернулся в купе, свалился на полку, вытянув ноги, кажется, тоже красные от натуги.

Забыть, забыть. Заснуть.

Ночь была дурна. Бессонница подпитывалась громким храпом соседа; тот спал всю ночь в одном положении, высунув в проход голую ногу, от которой шел сильный кислый запах. Эдику пришлось прятать нос, одеяльный запах был предпочтительнее.

3

Никогда Эдик не скучал по двоюродному брату; и даже за те двенадцать лет, которые они не виделись с Борисом, он ни на йоту не почувствовал к нему братской тяги. Обман родителей, который Эдиком был задуман, не был совершен им ни ради братской любви, ни ради братского содружества, альянса, союза: Эдик пустился во все поездные тяжкие ради себя, а не ради каких-то братских, скользких убеждений.

План был прост и легко выполним. Эдик добрался до Москвы. Копия Эдика, угодная родителям, осталась в столице, осела в милой квартирке тетки Клавдии, старой, вконец одряхлевшей карги, и дяди Ивана, старого маразматика. Другой Эдик, настоящий — с которого снимали копию, — сел на другой поезд и рванул в Питер, ибо в Питере жил Борис Вычужанин. С вокзала, едва дождавшись удобоваримого времени — восьми часов утра, Эдик позвонил Борису по телефону.

— Ты? — заспанным голосом усомнился Вычужанин. — Ты в Питере?

— Да, — дрожащим от радости голосом ответил Эдик. — Когда я могу подъехать?

— Как родители?

— Нормально, живы-здоровы... Так когда?

В трубке — утренне-жующие звуки, какое-то «мнэ-мнэ-мнэ», потом легкий, устричный писк-хруст.

— Знаешь, — начал Борис, — немного ты не попал... Трудно сейчас со временем... Чего же мне с тобой... Ты же, по-моему, собирался в Москву... Поступить хотел куда-то...

— В Баумана, — сказал виновато Эдик и тяжело задышал. — Я решил, что, в сущности... Письмо-то ты, значит, получил?

— Точно, в Баумана, — не слушая его, сказал Борис. — Ты где, говоришь, на вокзале?

— На вокзале.

Опять «мнэ-мнэ» — черт, это неприятно! Наконец Борис собрал раскиданные за ночь мысли в кучу, сосредоточился и выдал план: троллейбус номер, садиться на Невском, ехать долго — спросить у кондуктора, выйдя — сразу налево, до остановки, возле розового кирпичного, до дерева, за деревом — мимо мусорных, потом направо, оставляешь киоск по левую руку, дальше — такой полуразваленный, за ним искомое шестиэтажное, очень старое, на второй этаж, звонить два раза, подождать.

— Да, кстати, — сказал Борис, вновь мнэ-мнэкая, — прихвати-ка для меня парочку пивка. Помнишь, ведь я люблю «Балтику», четверочку... Денежки я тебе отдам, как подъедешь. Давай, дуй помедленнее. Мне надо морду прибрать. Ты хотя и не девка, но морда сегодня уж больно...

Далее — по плану: троллейбус и так далее; действительно, раскидистое дерево, киоск по левую руку, шестиэтажный, вонючий, старинный домище, прогнивший порог, каждый этаж с особым запахом, деревянные перила, звонок, наконец все-таки неприбранная братская морда: серые глаза, крепкий череп, миниатюрные ушки, глупо смотрящиеся на фоне мощного черепа, посаженного на здоровенную выю — Борис Вычужанин.

— Давай скоренько, — сказал Вычужанин, делая знак головой. Он был бос, от него попахивало потом. — Пиво принес? Так я и знал, черт...

— Я могу сбежать, — кисло поспешил Эдик.

— Давай, — согласился Борис, — за углом как раз круглосуточный... Парочку только.

Эдик чертом озвучил каждую ступеньку: черт, черт, черт, черт! — сладко превращая «ё» в долготянущееся «о-о-о»; следующий этаж: новое шестиэтажное «чо-о-ортыхание», затем ладонью выбил массивную дверь. Как он здесь живет? В такой хламиногрязище. Самое глупое — что Эдику, скорее всего, придется здесь жить тоже. Других вариантов он для себя не видел. Во всяком случае, пока. Пока родители не узнают всей правды, о сданном меняле Питеру институте, о ничего не понимающей тете Клаве, племянника не видящей и в глаза.

В киоски можно посылать роботов; всегда одно и то же: дверь на себя, деньги, «две «Балтики», четверку», сдача, звеня сталкивающимися бутылочными боками, дверь от себя. Отец тоже любит «Балтику», четверочку. Оттого, наверное, так привычно.

Борис уже надел брюки. Выхватил бутылку из рук, сорвал пробку, присосался, — взыграла пена внутри бутылки, оторвал губы с причмокиванием, присосался еще, влил в себя все, до донышка; взгляд мутный, красный уголок глаза, новый шрам над верхней губой.

— Наверное, — сказал, выживая откуда-то рубаху, — ты и мамку с собой приволок? А, Эдичек?

— Ты же лазил в сумки, — ответил Эдик, переминаясь на ногах возле порога, — чего спрашиваешь? Нет там мамки... Ты уходишь?

— Да, меня ждут. Я и так проторчал тут... тебя ожидаючи.

Далее последовали обычные тирады под знаком «хозяин — гостю», «постоянно проживающий — приезжему»: в холодильнике — колбаса, вторая бутылка — тебе, работают три программы, найдешь кассеты — магнитофон на кухне, буду в четыре, тогда и поболтаем, поживи пока в дальней комнате, найдешь Нинкины шмотки — тащи в гостиную, потом Нинка сама приберет.

За разговорами Борис вылакал вторую бутылку, охая, утирая губы прихваченным с кухни полотенцем, которое, попользовавшись, бросил себе под ноги и тут же сам на нем поскользнулся, опять припомнив Нинку, что «раскидала свои лифчики повсюду». После зашвырнул полотенце ногой под шкаф. Рывкнул слабо разборчивое: «буду ф сесире» (во рту поспешный тощий бутерброд с большим скукоженным сыром), потом исчез, и с потолка, Эдику на темя, сразу же свалилась вязкая тишина.

В квартире было потрясающе грязно: голые пыльные стеклянные груши вместо ожидаемых люстр, прожженный повсеместно линолеум; оторванные, гвоздатые, притуленные к стене плитуса; обезображенные их отсутствием, оголенные низы стен в одной комнате; что-то еще, не запоминающееся, неброское, и всюду грязь. Эдик несколько раз порывался что-то прибрать, ножом, взятым из кухни, соскрести какую-то засохшую гадость с косяка, вымести из кухни все пробки, но после понял, что прибирать только «кое-что» было бы глупо. Он оставил мысли о приборке и устроил себе экскурсию.

Квартира была огромной: четыре комнаты, гигантский коридор, непривычно высокие потолки, минимум мебели: совершенное отсутствие стульев, зато несколько шикарных удобных кресел разбросаны по комнатам, нищий прабабушкин, коротконогий стол возле пыльного окна, рукодельный диван в сальной одежде, подставивший Эдику подножки сразу двумя лапами, дорогой стеклянный столик, сервант, наполненный вазами.

Скука, скука. Надрывный плач импортного телефонного аппарата, скрежет массивного факса, отрывающегося шуршащую, блестящую бумагу с цифрами, ругань Бориса в автоответчике: «Эдик, бесто-

лочь, возьми трубку, дело есть!» Ничего, если трубку не брать, разволнуется, пораньше придет, — в этом было что-то женское, что-то первозданно-человеческое в этом дневном ожидании.

Борис явился поздно, — когда окна налились ночным уличным искусственным светом; явился сытый, мятый, сел в кресло, разбросав ноги, открыл миру дупло в сером носке, из которого мигом выглянул любопытный, бледнолицый мизинец, чуть шевельнулся, и тут рядом с ним объявился безымянный, да так они и остались, прижавшись друг к другу, совместно глядеть на мир. Повис в воздухе стеклянный, вопросительный взгляд, подкрепленный полновесно-хриплым «Ну как?», выданный тоном, не приемлющим скорого, конкретного ответа.

Все же Эдик Кейджинский попытался:

— Неплохо. Только скучно было. Я думал, ты придешь засветло.

На что получил тяжеловесное:

— Я тебе пива приташил. Поройся-ка в саквояжке.

Пива Эдик не пил.

— Зря! — отрыгнул Борис, подтянув к себе одну ногу. — Очень зря. Не сработаемся, гражданочка. Тащи его тогда мне...

Он был отвратительно пьян, рыгал ежеминутно, каким-то особенным движением лобных мышц пытался удержать закрывающиеся веки, отчего выражение бесконечного удивления не сползло с его лица; за бровями иногда вдруг устремлялись и ноздри, — тогда лицо его приобретало брезгливое выражение. «А железки свои ты зря приташил, — бормотал Борис, засыпая, — мне железяки не нужны в кварт...» Эдик догадался, что тот говорит о сложной клетке; вдруг спохватился, что за целый день — ни одним глазком. Улучив момент, прошел в свою комнату, распахнул визжащий, зубчатый засов. Она была на месте. Ну, да что ей сделается?

Это был некий, неизвестный науке атавизм, от которого он был намерен избавиться так, как разве мечтают отделаться от заячьей губы. Так бывает: у кого — хвосты, шестые пальцы; у Эдика Кейджинского — клетка. Противоклеточные лекарства: Питер, Борька.

4

Думал, забудет, выспавшись. Не забыл. Вскочил ни свет ни заря. Сполоснул багровую морду мутной водой из-под крана. Сунулся к Эдику в комнату, бормоча: «Давай, давай, чудило, доставай, что там у тебя?» Кейджинский пытался отнекиваться, болтать чепуху: на продажу, так, кое-что эдакое... Борис хватал ручищами. У Эдика замирало сердце: мощные, орангутанговые пальцы мяли каждый сустав, каждый излом, проверяли на гибкость каждую вдавленную, каждое коленце.